

В русском языке термин «несобственно-прямая речь» означает приём, когда автор прячется за героя, говорит вроде бы от него, но фактически это он сам. Приём этот помогает, может быть, раскрытию замысла, но есть всё-таки в этом приёме некая хитринка: спросить не с кого. Кто говорит? Автор? Нет, вроде герой. Герой тоже легко отопрётся: это, мол, не я сам, а за меня говорят. Таким приёмом, по сути, написаны многие работы Александра Солженицына, начиная с «Одного дня Ивана Денисовича». Поток его «однодневно-го» сознания и размышления идёт вроде бы от его имени, но мы-то понимаем, что это не герой такой умный, это автор, а уж автор знает, о чём и как думает советский заключённый.

«Красное колесо» – это десятки, чуть ли не сотни авторизованных персонажей, когда автор, овладев приёмом стилизации, может говорить и «царским», и «военным», и «мужичьим» языком. Полифония (по-русски – многоголосица) должна создавать «узловые» и вместе с тем типичные моменты русской переломной истории. Не знаю, как другие, а я просто устаю от такого приёма. Полифония звучания кажется мне шумом, персонажи – куклами, которые изображают реальных исторических лиц и говорят то, что прика-

жут... Воля ваша, я много раз, и по-тихому, и с разбега, кидался под колёса «Колесу» и вскоре обнаруживал себя на обочине дороги, по которой оно каталось туда и сюда.

5  
Может, это кому покажется резковато сказанным, но что делать – сунулась мне под руку статья из «Нового мира» (1999. № 10. С. 130–131), где «Колесо» названо «грандиозным», сочетающим «в себе художественную эпопею с историческим исследованием, фундированным, наверное, нисколько не меньше, чем самая солидная научная работа». То, что «Колесо» фундировано, я нисколько не сомневаюсь, я просто говорю: дочитать не могу.

В конце концов это моё личное дело: читать – не читать, может, я один такой, кому-то и «Красное колесо» – икона. И Солженицын в красном углу. Разве мы не помним ошеломляющего 11-го номера «Нового мира» за 1962 год?! Библиотекарша, в которую я, естественно, был влюблён, дала мне журнал на одну ночь. Кстати, это «на одну ночь» было и с другими трудами писателя, за одну ночь читали мы слепые самиздатовские тексты «Архипелага», «В круге первом», «Раковый корпус». Но такая была сильная тяга к правде, такая молодая память, что когда я

читал уже превосходные по своей полиграфии заграничные и здешние издания этих работ, то ничего нового уже не вычитывал.

В том же «Новом мире» потом я долгие годы был членом редколлегии (легко поднять протоколы её заседаний начала и середины восьмидесятых годов) и всегда выступал за публикацию произведений Александра Исаевича. Что и сбылось вскоре, и не в одном «Новом мире». Эпоха не эпоха, а время Солженицына было в русской литературе, а в мировой осталось на долгие годы.

Почему так я сказал, что в мировой осталось? Потому что для мировой хватает нынче уже немного, для русской же необходима художественность и духовность. Солженицын, при всём моём к нему почтении, – явление более социально-политическое, нежели литературное. О, я помню эти вечера литературы, когда требовательный зал ценил писателей по одному признаку: как писатель относится к Солженицыну? Уважает – наш человек. Не уважает – долой. Один раз, уже давно, покойный Пётр Паламарчук организовал вечер в бывшей церкви Московских святителей, а тогда в клубе им. Баумана, посвящённый Солженицыну. Вечер шёл часов пять. Милиция, давка, телеграммы в Вермонт. «Ценим, любим, ждём».

Ждали и дождались. Вернулся. Лучше сказать, явился, проехал Россию, собирая слёзы и страдания для будущих работ. Не на сладкие хлеба приехал: те, кто славил, решительно отвернулись. Давали экран, отобрали: не то заговорил. Те, кто верил, продолжали верить, хотя вскоре увидели – Солженицын с демократами. С разрушителями России. Как иначе сказать, если одобрял пришествие к власти ельцинистов, оправдывал братоубийство октября девяносто третьего. Может быть, тут сказался отдаваемый долг за приют Ростроповичу в нелёгкие годы гонений. Тогда Стиве, как называет его Солженицын в продолжении своих автобиографических записок «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» (очень точное название, нельзя же угодить меж трёх). Записки эти продолжают работу «Бодался телёнок с дубом». Так вот, Стива, приютивший Солженицыных, очень ярко показал себя в августе девяносто первого, когда бегал по Белому дому (так называли Верховный Совет де-

можурналисты, утоляя свою жажду по американскому устройству мира), бегал, охраняя Ельцина не с контрабасом, не до него, а с автоматом. В девяносто третьем, в дни расстрела, играл с оркестром на Красной площади и с пианистом – сыном Солженицына. То, что сын – пианист, это очень хорошо, другое дело, что музыка звучала на фоне проливаемой русской крови.

В продолжении записок, в «Зёрнышке», прежняя, «телёнковская» самозначительность. «Итальянские пограничники тут задержали нас на добрых полчаса безо всяких объяснений, оказалось: бегали за моими книгами, получить автограф». Вспомним «Телёнка». Твардовский приезжает в Рязань к молодому, неизвестному автору читать рукопись на дому, таково условие. Автор не даёт редактору выпивать – сиди читай. На вокзале Твардовский всё-таки отрывается от пригляда и выпивает, ах, нехорошо!

Но не все ли мы, не любой ли из нас созидал образ борца, народного защитника, великого писателя? Созидали! Иные в залётном усердии уверяли, что видели на «Матрённом дворе» призрак гоголевской шинели. Шинель была, говорили другие, но энкавэдэшная. Не мы ли мечтали: вот вернётся Исаич – и Россия будет спасена. Так что грешно порицать писателя, что он о себе высокого мнения, мы-то были высочайшего. Мы сами вознесли его на высоту, с которой он учил жить всех: и Америку, и Японию; Китай учил с СССР не церемониться, создавал «расширительный» словарь русского языка, учил священноначалие, писал тексты молитв, нас учил жить не по лжи, возносился всё выше, вещал всё увереннее и... И перестал быть слышимым. То есть вроде слышали и читали, но жизнь в России обустроивалась по-своему. Написал – и как-то бурно заговорили (но тут же смолкли) о работе «Двести лет вместе» (еврейский вопрос). Ибо честнее говорить было: «Тысяча лет в гостях».

И об «Одном дне...», наконец, дошло, что очень угодил Солженицын этой повестью Хрущёву. Всю свою ненависть к русским свалил Никита на Сталина.

Теперь, по прошествии времени, спокойным зрением видно, что диссидентство работало не против засилия марксизма-ленинизма, уже и в конце семидесятых это была картонная мишень, никто всерьёз научный коммунизм не воспринимал, кроме тех, кто на нём кормился (бурбулисы,

6

например, афанасьевы, гайдары), а работало диссидентство на врагов России.

Те же гэбисты. Ну да, подслушивают, сволочи, жизнь портят, но если есть государство, должна быть служба его безопасности? А в теперешнем состоянии общества человек может быть защищён только государством. Нынешняя, совершенно дикая постановка вопроса о возвращении памятника палачу русского народа говорит ещё и о том, что есть тоска именно по безопасности жизни в государстве. То есть уже и демократов допекло. Коммуняк свалили, страну разворовали, население успешно развращается и спаивается, но всё как-то тревожно: у подъездов постреливают, и убийц, вот что – канальство, досадно, не находят. Дзержинский бы нашёл. Он бы, конечно, ещё за компанию сотню-другую пришил, но это же другой разговор...

Диссиденты всегда были и будут недовольны. И кто сказал, что возможен рай на земле? Первые – утописты, вторые – коммунисты, третьи? Да, демократы. Обещали же. Вот идеологии не будет, вот будет рынок, тут-то наши слёзы и высохнут. А вышло – кровь полилась.

А Запад чему научен трудами Солженицына? Как и не было Вермонта, говорится в последнем телефильме «Узел», но ведь и для Запада как и не было никого в Вермонте. В том же «Зёрнышке...» описание первого после высылки появления на Западе. Не хочется к репортёрам, а всё равно надо идти. И пошёл, уже вставленный в заготовленную нишу антисоветской пропаганды. Но писательское зрение всё ещё остро, подмечает, как немолодой фотограф, пятясь, хлопается на спину, жалко.

Запад выветрил из писателя художника. Наизусть знающему «Захара Калиту» уже такого же или хотя бы чуть послабее не дожидаться. Уже превозносительная учительная сила водит пером писателя, уже, перестав наскакивать на Шолохова, разбирает Чехова. Из недавнего, «Окунаясь в Чехова» (тот же «Новый мир», № 10 с. г.), очень требовательно взыскивает с классика, надо бы Антону Павловичу писать (далее цитата): «...строже, лаконичней, подразумеваемей. Но тогда не писали иначе, это в XX веке научились». Тут вроде и не смеешь думать, что, может быть, наоборот, разучились. «А слов исконных, корневых, ярких русских у Чехова почти не бывает

(от южного детства?)», – спрашивает в скобках ростовский собрат по перу.

Заговоривши о языке, обратимся к языку и самого чеховского исследователя. Вот из «Ракового корпуса», без комментариев. Издание тысяча девятьсот девяносто первого года с аннотацией: книга с «восстановленными доцензурными текстами, заново проверенными и исправленными автором». Цитаты: «Она одними только алчными огневатыми губами протащила его сегодня по Кавказскому хребту». Снова о губах, вскоре они уже «намятые поцелуями до огрублости». А вот «расширительный словарь», создаваемый, по словам автора, тридцать пять лет. Это как доказательство, что русские глаголы терпят любые приставки. И почему мне верить, что «дрязг, дром» – это «сушняк в лесу, нанос»? «Мерекать» всегда было «соображать». Тут расширения нет. А расширение «мерковать – раскидывать умом» – очень головное, никогда не приётся. Так я мерекую.

Кто же в России жил не по лжи, на кого надеяться? На земство? Нет. Занимаясь историей образования в России, ясно видишь, что именно земство задушило церковноприходскую школу, это высочайшее заведение, где воспитание и образование были нераздельны. На учителей надеяться? Тоже нет. Кто, как не Учительский союз в начале века, ещё до мильковской Думы, до большевиков высказался за изгнание священнослужителей из русской школы, именно этот Учительский союз, разогнанный большевиками в тысяча девятьсот восемнадцатом году в благодарность за помощь в девятьсот четвертом. Нет, надеяться не на кого, только на Бога. Да это и прорывается во многих трудах Солженицына. Именно верующие в «Архипелаге...» живут не по лжи, только они могут сохранять образ и подобие Божие в человеке в самых невероятных условиях.

Но и с церковью у юбиляра своеобразные отношения. Он и её учит. Выступая на Рождественских чтениях, в присутствии патриарха Солженицын упрекает православную церковь (именно так, не священноначалие даже, что модно для нашей госпожи интеллигенции, а церковь, которая всегда та же, Христова, как и Христос, чьё тело церковь являет). Говорит об осовременивании богослужебного языка. Ну ладно, это мы слышали уже от С. Аверинцева, крепко стоящего на почве

Византии, от Лихачёва, возможно, уставшего от переводов с древнерусского (тут большевистская хитрость – назвать церковно-славянский древнерусским), но слышать от Солженицына, описавшего с таким сочувствием страдания православных? На каком же языке они молились? На современном? Нет, на том же, что и преподобные Сергей и Серафим. Помню, как резануло православных именно это место о переводе богослужения на современный язык в телебеседе Никиты Струве и Солженицына. Струве можно понять, всю жизнь в Париже, но мы-то в России. И почему мне верить авторитетам, на которые ссылается Солженицын, на Бердяева и Ильина? С чего? Острый ум Бердяева? Но оттого и острый, что неправославный, православный – значит смиренный, без смирения нет мудрости. Верить Ильину? Это очень онемеченный ум.

Православная церковь никому ничего не должна, это твердыня, это скала, на которой единственно может быть основано спасение России. Уж чего только не перепробовано во всех веках кончающегося тысячелетия: конституции, республики, демократии, революции, битвы за свободу, которые обязательно ввергали в новую несвободу и новую борьбу за свободу... Церковь говорит о свободе как о данной Богом человеку возможности созидать себя по образу и подобию Божию. От этого созидания всё: спасение души, спокойствие жизни, её осмысленность. Возрождение России единственно возможно под духовным водительством православной церкви. Иудейская страна, некогда цветущая, погибала, когда в неё, Промыслом Божиим, явился Спаситель. И она бы спаслась, если б послушала Его. Не послушала и вскоре погибла под развалинами иерусалимского храма.

Солженицын – личность многомерная. Независимая. Признак независимости – никому не старается угодить. Вступая в мафусаиловы годы, он полон сил, и труды его множатся. Пребывающим в трудах он ярко показан в телефильме о нём, уже упоминавшемся. Ведущий, я потом понял, что режиссёр явно робел пред юбиляром, ждал скрипа ступенек, означавшего, что наступило время прогулки, шёл вместе с героем фильма, так же, по-арестантски, складывал руки за спиной (нам это долго показывали), обсуждал годовые кольца на липе, спиленной почему-то очень высоко (напоминает постамент), слушал рассказ о молнии, попавшей в эту липу, вернее,

о липе, в которую попала молния, потом, допущенный в кабинет, сидел в углу, а нас заставлял рассматривать бороду писателя (частями), очки, стол с различными приспособлениями для письменных работ и саму эту письменную работу по вычёркиванию и вписыванию слов... Видимо, по замыслу, мы должны были сопresentствовать при творческом процессе, но, увы, мы, неблагодарные, присутствовали при рассматривании бороды и не видели процесса. Но спасибо режиссёру за вопрос о Распутине. Спасибо и Солженицыну за ответ. Выразил праведный гнев по поводу того, что радио «Свобода» назвало Распутина фашистом. «Распутин – нежная душа», – сказал Солженицын. Он и о Чехове так писал: «Чехов – чистая душа».

И снова дачный участок, который очень большой, и снова обмен мыслями, не очень большими. Но что спрашивать с двухчастёвки, когда пред нами огромная жизнь. И двумерному, тем более плоскому во всех смыслах, экрану её не выразить.

И, конечно, вспомним уничижительное отношение юбиляра к Шолохову. Тут аналогия с Толстым, которому мешал жить Шекспир. Оба они: и Солженицын, и Толстой мнили себя главными в веке двадцатом, а может, и в остальных. Не получилось: ни зависть, ни превозношение в лидеров русской мысли не выведут. На какое-то время – да. Но Россия живёт в вечности.

*Написано к 80-летию писателя, в 1998 г.*

## **ЗАСТОЙНЫЕ ВРЕМЕНА**

В тот давний морозный декабрь в Вятке, куда я примчался из слякоти и туманов Москвы, я был здоров, счастлив и молод. Первые мои рассказы, напечатанные в столичных журналах, дошли до родины, один даже с фотографией, что восхищало. Вот не вру, увидел в троллейбусе девушку, читающую мой рассказ. «Это – судьба», – забилося сердце. Я с ходу подсел, она покосилась, отодвинулась, а я сообщил: «Это я написал». Она ответила: «Иди, дядя, prospись». С тех пор не ищу контактов с читателями. С московскими. А Вятка? Вятка – это Вятка. Конечно, нет пророка в своём Отечестве, тем более в недоверчивой Вятке, но ведь родина. Родина. Родила и вырастила, как не мечтать чем-то отблагодарить. Вот и считал свои рассказы малым вкладом в малую родину. Малой родиной называли место рождения писателя. Для кого малая, а для меня – всесветная. Таковой

же она, уверен, была и для вятского русского поэта Анатолия Гребнева, живущего в Перми. Именно с ним мы встретились в эти морозы. Навестили писательскую и журналистскую организации, сходили во главе большого коллектива пишущих в баню, естественно, в номера. Естественно, с допингом для увеличения радости жизни. Вымылись и выслушали новости светской жизни областного центра.

– Нет, Толя, – сказал я, когда мы остались одни, – это счастье, что мы живём не в Вятке. Счастье. Приехали и уехали, а живи тут постоянно? Ведь это надо было бы участвовать в «борьбе». Ну чего вот он (я назвал фамилию) с бабами связался?

– А этот, – Толя назвал другую фамилию, – уже рехнулся от сознания своей гениальности. Ты слышал, он говорит: «Я – вятский Гоголь».

Я передал Толе приветы и поклоны от Анатолия Кончица, прекрасного писателя, тоже, естественно, вятского, живущего в Москве. Он сын сосланного в Вятку белоруса и подосиновской женщины. Не женщина из-под осины, а район такой, Подосиновский. И пересказал Толе до сих пор не напечатанную повесть Кончица. О ней чуть дальше. ...Пока же закончу рассуждение о климате провинциальной культурной жизни в сравнении с московской. В провинции враждуют всерьёз и по долгу. В писательской организации из десяти членов всегда восемь партий. Вражда идёт до гробовой доски, закручивает события, втягивает и ближних, и дальних. В Москве враждовать некогда. Во-первых, в Москве никому ни до кого нет дела, во-вторых, в Москве много писателей и все гении, в-третьих, событий, то есть сплетен, такое количество, что их не переварить. Утром узнаешь, что такой-то уехал в Израиль, к обеду – что такой-то оттуда вернулся, а такая-то ушла от такого-то к такому-то (так ему и надо), вечером в ЦДЛ подрались (вчера тоже дрались, но как-то не так, сегодня ярче, милиция была), такой-то выдвинут на премию, а такой-то задвинут (конечно, надо наоборот, да разве ж эти там, в секретариате, чего-нибудь понимают), того-то избрали, а того-то прокатили (надо было обоих прокатить), а эта сучка только приехала из Франции и уже включена в делегацию в Италию («а ты что ж, не знал, она же стукачка»), то есть такое количество событий, стычек, лагерей, заседаний, что когда уж тут по долгу враждовать. Одно было и продолжается противостояние: евреи и русские. Но как-то же уживались, сидели на одних совещаниях, пьян-

ствовали вместе, делить, конечно, было что (издания, звания, поездки...), но как-то и это решалось. Я потом долгие годы был в приёмной комиссии, сейчас некогда, а надо бы рассказать, как принимали в Союз. Если мы, русские члены приёмной комиссии, не принимали в Союз еврея, причём совершенно по объективным причинам (бездарен, тяготятен, мало написал, подождём), то члены комиссии евреи тут же автоматически топили русского, будь он хоть расталантлив. Но как-то всё же договаривались, Союз писателей рос.

Именно в ЦДЛ я познакомился и мгновенно сдружился с Анатолием Кончицем, земляки же. Он часто звонил и забавлял, например, тем, что вот сейчас перечитал «Господина из Сан-Франциско» и понял, что в России только три прозаика:

– Ты, я и Бунин.

– Тут у меня ещё Женя сидит, – говорил я.

– Да, и ещё Женя.

Но это он так шутил, а сам был скромнейший, совершенно непробивной человек. Он написал повесть, где главный герой – унылый маленький человек советского времени. Комната в коммуналке, зарплата ниже уровня моря, кто такого полюбит? Но однажды в его комнате вдруг отъехала в сторону стена, за ней открылся сад, беседки, выскочил швейцар и пригласил: «А пожалте, барин, для аппетита погулять». Вот такой сюжет. Швейцар, имя его Филимон, любил барина. У берега тихой речки, конечно, с лебедями, пели девушки в сарафанах, доносилась свирель пастуха. И барин, совершенно разнеженный, говорил Филимону: «Дай-ка ты мне, братец, в руки пистолет да поставь-ка ты себе на голову яблоко». – «А не портили бы вы яблоко, барин», – отвечал Филимон, нисколько не сомневаясь, что барин попадёт не в лоб, а в цель.

Толя, посмеявшись, сказал вдруг:

– А что, барин, не мало ли мы погрелись?

Мы стояли среди морозного тумана. Окутанные седым снежным куржаком, извергая мгновенно замерзающие облака выхлопа, проносились автобусы. Скрипели валенки торопливых закутанных прохожих. Непонятное время как бы умершего от холода дня подстрекало к сопротивлению. Тем более после бани боялись простыть.

– Да, Филимон, – отвечал я. – Не будем портить радость от встречи разговорами о роли интеллигенции в её личной жизни.

Но в тот же вечер мы снова нарвались на такие разговоры. Нас заарканила областная гросс-

дама (прошу только не думать ни на кого из знакомых вятских женщин), её давно нет в Кирове, тогда же она держала своеобразный салон. У неё, помню, были какие-то прыгающие по стенам и потолку пресноводные лягушки. Это добавляло ощущений. Театральная и околотеатральная публика, телевизионщики, ещё кто-то пели, и пили, и говорили услышанное по «Голосу Америки». Наша интеллигенция, что для неё, увы, естественно, верила разным «голосам» сильнее, чем голосу Москвы. Виновата и Москва (очень дубовые тексты звучали над страной), но и сама интеллигенция, которой со времён предателя Курбского, а его демократы числят в основателях русской интеллигенции, кажется, что всё заграничное лучше всего. Мне слышать то, что слышал-переслышал в ЦДЛ, было уже и немного. Господи Боже мой, я на родине, в богоспасаемой Вятке, и снова должен слушать бесконечное: Сталин, евреи, свобода творчества, пример Запада, отношение к интеллигенции, оплата творчества по таланту (все же таланты!)... Сколько можно?

– Я ухожу, – сказал я Толе. – А ты, барин, как изволишь.

Игра в барина и Филимона уже привязалась к нам, только мы так и не поняли, кто из нас кто – кто барин, а кто слуга.

– И на кого ж ты меня покинешь? – отвечал Толя.

Мы выбрались из-за стола вроде покурить, оделись в прихожей и самым примитивным образом эмигрировали. Так сказать, безвизно. Мороз ещё подбавил. Троллейбусы уже не ходили. Стали ловить машину. Толя остался на остановке, поставив на скамью портфель и выскакивая голосовать проезжающим, я перешёл на другую сторону.

Машину-то мы поймали, а вот портфель у нас свистнули.

– Да, – сказал я, – очарование родиной продолжается.

Мы недолго бы переживали, если б портфель пропал без содержимого, но он пропал именно заряженным. Мы стали искать то, чем можно было б залить горечь интеллигентских дискуссий. Конечно, с высоты лет легко нас осудить: шли бы спать и всё, но поставьте себя на наше место. Приехали на родину, давно не виделись.

Выручил писатель Владимир Ситников, спасибо. Он совершил нерядовой поступок, когда

в глухую полночь вышел на наш звонок на площадку квартиры, сразу всё понял и помог.

На улице у меня лопнула подошва зимнего австрийского ботинка. На такие морозы она явно была не рассчитана. А ведь знали же немцы, что в России есть генерал Мороз. Быстро забыли. Нога моя заколела в минуту. Вприпрыжку мы побежали ночевать к моему брату.

Утром брат залил пространство щели на ботинке каким-то особым клеем.

– Погоду слушал, – сказал он. – У тебя, Толя, в Перми, гораздо теплее.

И вот эта случайная фраза брата о погоде решила нашу судьбу. Сидели на кухне и всё прокручивали вчерашнее сидение с вятским бомондом. Разговоры его ничуть не отличались от разговоров и в Москве, и в Перми, рассуждали мы. У интеллигенции всегда все виноваты, но не она. Любимая тема – говорить о привилегиях начальства. Это же показывает зависть говорящего. Вторая любимая тема – обсасывать уже прошедшие события истории, которые не изменишь. Но зато сколько возможностей показать ум! Третья тема – осуждение пишущих (рисующих, играющих) собратьев. Конечно, все бездари. И так далее.

– У нас в Перми, – сказал Толя, – есть два поэта.

– Два? А ты? А?..

– Два враждующих. Зовут Штепсель и Тарапунька. Один – два метра, другой – метр с кепкой. Метр с кепкой написал: «Мировоззрение окраин центростремительней ума». Завихрение, конечно, но имеет же право. А высокий, Тарапунька, стал высмеивать: у этого шплинта и мировоззрение?! Что ты! Обида, вражда. Если один пришёл в Союз писателей, другой не придёт.

– И у каждого – читатели, так ведь?

– Естественно. А поехали-ка, Филимон, на вокзал, – сказал Толя. – Выпьем там. Не пьянства ради, а чтоб не отвыкнуть для.

Поехали. Моментально схватили такси. Вообще в дореформенной России с такси не было проблем, в Кирове особенно. Такси можно было вызвать из уличного телефона-автомата. Звонишь – через три минуты выезжает из-за угла. Ещё через пять минут водитель становится хорошим знакомым, а к концу поездки – преданным товарищем. Для начала Толя всегда читал стихи Передреева: «И вот стою и погибаю среди райцентровской грязи. Вот снова руку поднимаю, вот умоляю: «Подвези!» Шофёр берёт меня, сажает, а я ему не сват, не зять. Шофёр глаза

свои сужает, соображает, сколько взять...» Ятские таксисты, в отличие от московских, глаза не сужали, брали по счётчику (что, кстати, было очень недорого), а один раз возивший нас таксист заявил: «Парни, это я вам должен платить, а не вы. Я с вами, парни, как в кино сходил». То есть умели мы поговорить с народом. Правда, народ был не нынешний. А таксисты, думаю, уже и забыли, когда возили простых людей.

Опять у меня перекидка в нынешние времена. Но, когда вспоминаешь, невольно сравниваешь. Поминая дни древние, поучаешься в них, говорит Псалтырь. Так и мы. Всё познаётся в сравнении. Чем плохо жили? Да ничем. Главное, не боялись завтрашнего дня. Стали недовольны жизнью – получай. Недовольство жизнью всегда ведёт к её ухудшению.

Толсто замёрзшие стёкла вокзального ресторана не пропускали ни свету, ни изображения того, что происходило на перроне. Слышен был шум уходящих и приходящих электричек, гудки электровазов.

– С этими разговорами, – сказал я, – будто из Москвы не уезжал.

– А я из Перми. У нас же тоже и «Немецкую волну», и «Свободу», и «Голос Америки» слушаю. Глушат, конечно, да что толку. Антенны насобачились делать, приёмники делают помощней. За высокую техническую грамотность! – поднял Толя бокал.

– И за низкую национальную сознательность! – поднял я свой навстречу. – То есть за то, чтоб она возросла.

– Как всегда, будет поздно, – хладнокровно отвечал Толя. Он закурил, порассматривал ногти на пальцах, поднял взгляд и весело предложил: – А поедем, Филимон, в Пермь. Сказал же брат – там теплее.

– Тогда уж в Москву. Там вообще оттепель. Мы почти посередине. Жребий?

– Жребий? – Толя уже достал спички и одну из них обезглавил. – Но! Вытянем Москву, а вдруг вначале пойдёт на восток? Давай поедем туда, куда пойдёт скорее.

– Давай.

Мы поднялись в кассовый зал, к расписанию. Вышло в Пермь. Билеты, правда, были в общий вагон, но что с того.

– Зима, мороз, и все куда-то едут. Ну мы-то хотя бы освежить взгляд зрелищем заснеженной России, а все-то куда? – спрашивал Толя, проверяя запасы огня и дыма, сигарет и спичек.

Поезд, на диво, пришёл и отошёл вовремя. В вагоне было так натоплено, что по нему бродили в майках. Плакали дети, орали динамики. Вагон был чуть ли не двадцатый, хвостовой. Выехали за привокзальные стрелки – и всё равно мотало. Толя уже узнал, что в поезде ресторана нет, есть буфет, но что и это не то.

– Почему?

– Как говорят психологи, выслушай информацию со знаком минус: в буфете только акваминерале. – Толя сделал паузу. – А теперь выслушай информацию со знаком плюс: в первом вагоне у проводника, официальная кличка Игорь, есть. Правда, надбавка за подпольную продажу, ну-к что ж. Идём? Водка от гонений крепнет.

Тогда, опять же кстати, качество спиртного было данным, то есть надёжным. Демократического пойла, убивающего людей, вроде «королевского» спирта «Ройяль», вроде чудовищной ацетоновой бормотухи, не было и в страшном сне.

Мы оставили полушубки и пошагали налегке. Представьте эти два десятка вагонов, в которых жар и духота, и эти снежные тоннели тамбуров, эти тяжёлые обросшие ледяным свинцом двери. Вечность мы шли до этого Игоря. Он оказался на месте, выслушал пароль от нашего проводника, назвал сумму. Мы к тому времени уже умели не удивляться. Купили расположение этого Игоря ещё и тем, что сообщили: «Одну распечатываем с ним, одну берём с собой. Платим за обе».

– Вот такой пошёл клиент у тебя.

Добру добро откликается – в служебном купе появились и горячая картошечка, и рыба, также огурчики-помидорчики, вызвавшие в памяти ча-стуху: «Огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике». Хоть и не убивал, а в ча-стуху для закрепления в народной памяти попали оба. Посидели душевно, пошли. И снова эти контрасты жары и полярного холода, снова эти перемёрзшие окна, за которыми что-то проносилось.

– Как в метро едем, – сказал я на середине пути.

– Слушай, барин, беря в рассуждение то, что от этих сквозняков и мороза ни в одном глазу, а также трудность добывания горючего, а также то, что всё равно снова идти, то...

– Не из горла же.

В том же вагоне, в котором пришло разумное решение, мы обратились к проводнице как близкие друзья Игоря. Да и без Игоря мы были в сво-

ём народе. Огурчиков не было, но чистые стаканы, но хлеб, но шоколадка предстали в ту же минуту. Посидеть с нами проводница отказалась. Оставила нас из деликатности одних, пошла подметать.

– Надо бы ей стих сочинить, – предложил я. – Еда на уровне министров, да и обслуживают быстро.

Толя подхватил:

– Нам так понравилось сидеть, что захотелось к вам опеть.

Мы всё прибрали, вышли в тамбур. Толя курил, я мёрз. Пытался продышать глазок в стекле. Вроде протаивало, но как только отслонялся, чтоб набрать воздуха, глазок затуманивался, как засыпающий.

– Удмуртию, наверное, проезжаем.

– Не Удмуртию, а Глазовский уезд Вятской губернии, – поправил Толя. – Мы вятские, чужого нам не надо, но наше отдай. Нас вообще кругом обтяпали. Чайковский был наш, стал удмуртским, это что? Заболоцкий отошел к марийцам, Шаляпин – к татарам, Шишкин – к ним же. Что ж осталось? Васнецовы только. Ну что, барин, к Игорю?

Игорь уже был не проводник, а полупроводник, как мы его потом назвали. Но, выпивая, он не хамел, цены не прибавлял, только всё обещал начистить морду электрику состава.

– Он же всю дорогу дрыхнет. Вот и отоварил Райку. Нет, начищу! Будет блестеть, будет!

– С мордой не связывайся, – посоветовал Толя. – Пристрели и выкинь. Проще. Вместе с Райкой.

И опять этот поход из головы в хвост. По пути благодарили проводницу, обещали написать ей стих. В этот раз всё-таки решили пойти до своего вагона, а то как бы наши полушубки не скоммунизмили. В вагоне полушубки были на месте.

– Филимон, пока не будем открывать, давай сочиним, обещали же.

Соседи по купе засобирались выходить. Верещагино.

– Уже Верещагино! – ахнул Толя. – Да, барин, вот как, оказывается, надо преодолевать пространство. Преодолевать его в движении. Лёжа мы бы так быстро не ехали.

Мы улучшили жилищные условия, то есть перебрались с боковых мест на перпендикулярные им. Стали сочинять. Я письменно, Толя устно.

*В жаре, на полке боковой,  
Над колесом, у туалета,*

*Я ехал к крестнику домой,  
Он был поэтом.  
Крик жён, храпенье их мужей,  
Хрипенье радиоэфира,  
Казалось мне, что нет уже  
Другого мира.  
И обескровленный листок  
В окне метался.  
Изнемогая, на восток  
Я продвигался...*

Окончание я забыл, да это и неважно. Толя, как профессионал, сочинил гораздо лучше:

*Надоело болтать и стограммить  
Под хмельную чечётку колес.  
Я сумею состав застопкранить,  
Я успею уйти под откос.  
Вы меня ни за что не найдёте,  
Мне на вас глубоко наплевать.  
Ах, какие на поле омёты,  
Я в омёты уйду ночевать...*

Дальше, помню, было:

*С головою зареюсь в лучи  
И усну в золотистой соломе,  
Как у мамы на русской печи.*

В конце стояло:

*Не забыт он, не предан, не запит  
Родниковой отчизны исток.  
Мне – на Вятку, на запад, на запад,  
А колёса стучат – на восток».*

Толя щедро похвалил мои способности к рифме, но поправил:

– То, что я твой крестник, ты верно отобразил, но почему про этого крестника: он был поэтом? Был? Если так, то я сумею состав застопкранить. Все будут, как обескровленные листки, метаться.

– А на кого это тебе глубоко наплевать?

– Они поймут.

В Перми вряд ли было теплее. Доказательством мороза было то, что прямо на вокзале у меня лопнула вторая подошва, и первая, та, которую лечил брат, тоже треснула, но не по скленному, брат сделал на совесть, а рядом.

– У тебя дома клей есть?

– У меня, как в Греции, всё есть, – отвечал Толя. – Но ты что, думаешь сдаваться? У меня и жена есть, даже и вятская, то есть даже больше,



чем хорошая, да ведь жена-а. Но! Барин, сейчас хоть и темно, а ведь ещё и шести нет. Помнишь шутку: до семи пьют семиты, а после семи – антисемиты. Поехали в Союз, там точно кто-нибудь есть.

О, эти бесконечные пермские улицы, проспекты, гигантские площади. Ну зачем, скажите мне, иметь в городе улицу, конечно, имени Ленина, длиной в семьдесят километров? Одно утешало, что в Перми есть своя Царь-пушка размерами больше Царь-пушки, стоящей в Кремле. Причём важное отличие: кремлёвская пушка так и не выстрелила, а пермская и стреляла, и ещё вполне может стрелять. Сведение, ценное для нынешних времён.

Приехали в Союз писателей. Там было народисто. Рядом с Союзом писателей был клуб МВД, конечно, имени Дзержинского. В нём мы быстро достали всё необходимое для радости встречи. Вот, кстати, тоже глагол: достать. Этот глагол гораздо энергичнее, нежели глагол «купить». Купить любой может, а ты достань. Достать – дело творческое. Загрелась казённая посуда, с меня требовали московских новостей. Но я всегда замечал, что в провинции больше знают о Москве, нежели в самой Москве. Высокий поэт, назовём Александром, завладел вниманием.

– Этот шплинт, – сказал он, – этот шибздик имеет мировоззрение.

– Хватит тебе! – закричали присутствующие.

– О! – вдруг встрепенулся Толя, сидящий рядом. – Ведь Славка рядом живёт.

Толя вышел. Потом я понял, что он звонил поэту маленького роста, просил прийти в Союз.

Тут началось и блистательно произошло событие, положившее конец поэтической вражде. Событие задумал и провёл Толя. Он примерно рассчитал время прибытия Славы и наполнил бокалы.

– За Пушкина! – возгласил он.

Возражений не было. Только встали (за Россию, за Пушкина, за женщин – стоя), как в дверях появился Слава. Александр поперхнулся, Слава попятился, но Толя подскочил к дверям, загородил Славе выход и закричал:

– Тих-ха! Саш, скажи только одно: хуже или лучше Пушкина ты пишешь? Мы знаем, что ты прекрасный поэт, ты заработал бессмертие, но вот кто лучше: ты или Пушкин?

Александр помялся, переступил (все ждали ответа) и угрюмо проворчал:

– Ну, Пушкин.

– А ты, Слав? – тут же обратился Толя к маленькому ростом. – Ты лучше Пушкина пишешь, а?

– Что глупость говорить? – ответил Слава. – Пушкин же.

– Итак! – поднял руку Толя. – Вы оба пишете хуже Пушкина, так чего вам делить? Чего? Ну-ка, брудершафт!

Мы загудели одобрительно, стали подталкивать противников друг ко другу. И – свершилось: Толя с помощью Пушкина и с нашей помощью покончил с враждой, вырвал её корни. Славу и Александра посадили вместе.

Александр отечески подливал соседу и гудел:

– Плюнь ты на эти мировоззрения, пиши прощ. Как у Пушкина: мороз и солнце, понимаешь, прибежали в избу дети... так и молоти.

Сидение закончилось. Тогдашний секретарь Пермского отделения Союза писателей Николай Николаевич Вагнер позвал нас к себе. Много лет назад он похоронил жену, больше не женился, жил одиноко, но очень чисто в трёхкомнатной квартире. Сразу отказался от нашего предложения посидеть на кухне, стал накрывать в большой гостиной. Любо-дорого было смотреть, как он постилает чистейшую скатерть, достаёт из серванта и перетирает хрусталь, фарфор, раскладывает мельхиоровые приборы, извлекает из морозилки запотевшие ёмкости, нарезает дефицитные продукты. Опять отвлекусь: это была чисто русская советская загадка тех времён: при пустых магазинах изобилие продуктов в домах. На Западе в магазинах всё ломилось, а придёшь к ним домой – пусто, экономно, ужимисто. У нас всегда полная чаша. Сейчас более начинаем походить на Запад.

Николаю хотелось поговорить с московским гостем.

– Вот этот, – он назвал модную фамилию, – ведь еврей?

– Ну?

– Я сразу понял. Не успел напечатать роман, как уже шквал аплодисментов. А ведь в зубы нечего взять, просто гигантский очерк, а не роман. А вот этот (фамилия) – русский, прекраснейшая повесть, и никто ни звука.

– Ни слова о евреях! – закричали мы.

– При Сталине... – начал Николай.

– Ни слова о Сталине! – закричали мы.

– Значит, молчать?

– Есть же третья тема – о женщинах.

Потом мы воспели этот вечер в стихах: «*Колья жил, как отшельник игумен, лишь с печат-*

ной машинкой дружил, и в горячке писательских буден без излишеств, без пьянства он жил. Только надо ж такому случиться – был покой монастырский сметён, вдруг явился к нему из столицы барин в туфлях, а с ним Филимон...» Про барина и Филимона мы, конечно, Николаю рассказали.

– С женщинами я вам не помощник, – ответил Николай. – Но пригласить могу.

– Приглашай, – распорядился Толя. – Желательно постарше. Для общения, для интеллекта. Вдохновения хватает.

Я вызвался чистить картошку и жарить мясо, они пошли звонить. Слышно было, как Толя энергично уговаривает:

– В такой мороз надо держаться ближе друг к другу. На полчаса? Отлично. В нашей жизни и пять минут могут стать вечностью.

Одну уговорили. Стали звонить второй. Вторая, объяснил Николай, была очень важной женщиной, со склада запчастей. Познакомился, когда ездил доставать что-то для своих «Жигулей»: «Писателей, говорит, уважаю. Телефон дала домашний».

И вторую уговорили. И мясо у меня подошло и томилось под чугунной крышкой. Обе приехали чуть ли не враз. Первой та, которую Толя уговаривал особенно жарко. Зрелище было страшным. Потом мы его описали так: *«Филимон возле дамы хлопочет, возле дамы ужасной своей, у которой ни сердца, ни почек, ни волос, ни бровей, ни груди»*. Вторая была раза в два моложе, но тоже сильно в годах.

Я сидел напротив Толи и видел, что он и страшится, и мужается поглядеть на соседку. Другая, со склада, была проще и веселее. Чем-то ей понравился именно я. Она предложила спеть интеллигентскую песню: «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Спели и стали анализировать: кто в центре песни? Эмигрант? Скорее, ещё не уехавший, но отправивший в «край далёкий» и жену, и сестру. Ведь в краю далёком есть у него и жена, и сестра. Заставили Толю читать стихи. Всё было душевно.

Полночь, однако, приближалась. Женщина со склада вполне освоилась в квартире, сообщила мне, что нам надо занять одну из комнат, что уже люди устали, надо дать им отдохнуть, и нам пора. Николай, наклоняясь ко мне, вдалбливал, чтоб я непременно к утру достал крестовину для его «Жигулей». Вот женщина, прихватив в одну руку рюмки, в другую графин (Николай же не мог

опуститься до того, чтоб наливать гостям из бутылки), лягнула меня в плечо бедром и пошла. Николай стал меня толкать вслед за ней, повторяя: «Крестовина, крестовина!». Так он меня и затолкал в камеру пыток.

– Миленький, – хлопнула в ладоши женщина, – контрольный звоночек, и...

Этот контрольный звоночек меня спас. Оказывается, муж женщины уехал в тот день проверять отопление на даче и собирался там ночевать, а приехал туда – всё отопление полопалось, трубы перемерзли, и он возвращается. Хорошо ещё, заехал к знакомым гаишникам и позвонил с поста. Эти сведения женщина получила от матери, взвизгнула и мгновенно собралась.

Я фальшиво и радостно кричал:

– Как? Так сразу?

Вызвали такси. Оно, как и в Вятке, подрулило моментально. Женщина исчезла. Вскоре отравили и вторую. Можно себе представить радостное мужское застолье, которое вслед за этим продолжалось ещё дня три-четыре.

Но в этих днях были: и баня, и покупка мне зимних ботинок, не австрийских – отечественных, тёплых, надёжных, были и встречи с трудящимися и учащимися. Продолжалась игра и в барина, и в Филимона, причём я до сих пор не понял, кто из нас кто. Ослабев здоровьем, я уже не мог ехать поездом. Тем более если б я поехал поездом, то как бы я проехал Вятку? А на неё уже не оставалось сил. И я улетел самолётом. Всё было настолько доступно и настолько мы всё это не ценили, что... Что теперь!

В Москве измученный Уралом организм схватил простуду уже на трапе самолёта при выходе, и вечером того же дня я отправился лечиться. Куда? Конечно, в ЦДЛ. И там, конечно, сидел Анатолий Кончиц, которому я и рассказал о воплощении его литературных персонажей, что его повесть, так сказать, каким-то боком вышла всё же в люди.

И какова же, как говорил знакомый писатель кавказских кровей, какова же «марал»? Он не видел смысла в рассказе, если в нём не было любовной морали.

Да, какова «марал»? А никакой. Чего теперь, когда всё в России – и власть, и финансы, и особенно средства массовой информации, театр, кино – всё захвачено, я не скажу – нерусскими, но скажу – антирусскими людьми. Именно так. И мы сами помогли этому. Одно утешает – всё это захвачено, а захватчики трясутся от

страха. Они же понимают, что Россия осталась с русскими.

Но как же помогли? Очень просто: тем, что подвигивали кухонным борцам, желающим публично говорить правду, желающим жить в другой стране или переделать эту страну. Мало было, что говорили везде и говорили, кто что хотел. Но ведь так хотелось кайфа – тиражировать то, что говоришь на кухне, обнажаться хотелось публично. Ну, обнажились, ну, переделали страну, что ж вам невесело, господа хорошие?

В кратком послесловии сообщаю, что та женщина со склада сама привезла Николаю несколько крестовин, полюбила литературу, выпрашивала мой адрес. Николай выстоял, семья моя сохранилась.

Вот такие воспоминания из времён, когда картошка стоила десять копеек, а в школе детишек учили любить Родину.

## КОРФУ И БАРИ

Холод в номере уличный. Я вернулся с долгой прогулки по городу. Темнеет рано, но город празднично освещён: скоро европейское Рождество. Дома, деревья, изгороди, парапеты мостовой – всё в весёлых мигающих лентах огоньков. Ветер и зелень. Длинная бесконечная улица. С одной стороны – море, с другой – залив. Не сезон, пусто. Брошенные тенты, ветер хлопает дверцами кабинок. Берег покрыт толстым слоем морской травы. Волны прессуют его. Вроде бы и тоскливо. Но запахи моря, но простор воды, но осознание, что иду по освобождённой русскими земле, освежали и взбадривали. От восторга да и от всегдашнего своего мальчишества залез в море. Ещё и поскользнулся на гладких камнях. Идти не смог, выползал на четвереньках. Ни полотенца, ни головного убора. А ветрище! О чём думаю седой головой? Ведь декабрь. Поднимался по мокрым ступеням. Справа и слева висящие и мигающие гирлянды огней. Декабрь, а всюду зелень. Фонарики бугенвиллей.

Группа моя у отеля. Надо было просквозить в номер, но неловко, и так от них убежал. Стоял, мёрз, слушал. Гид: «Турки отрезали головы у французов и продавали русским. Русские передавали их родственникам для захоронения... Семьдесят процентов русских имён взято у греков. Но моё имя Панайотис в Россию пока не пришло».

Новость: нас не кормят. Надо самим соображать. «Ахи да охи, дела наши плохи, – шутит Са-

ша Богатырёв. – Пойдём за едой. Кто в Монрепо, а мы в селпо. – Рассказывает, что пытались ему навязать якобы подлинную икону. – Говорят: полный адекватанс. Гляжу – фальшак».

Я на скрипящей раскладушке. Боюсь пошевелиться, чтоб не разбудить соседей. Они всю ночь храпели, я сильно кашлял, надеясь, что их храп заглушает для них мой кашель. Встали затемно. Читали утреннее Правило. Ехали по ночному городу. Справа – тёмное, белеющее вершинками волн море, слева, вверху – худющая луна и ковш Белой Медведицы. Полярная звезда успокаивает.

Службу вели приехавшие с нами митрополит и архиепископы, а ещё много священников. Поминали и греческих иерархов, и своих. Храм высокий, росписи, иконы. Скамьи. Мощи святителя Спиридона справа от алтаря и от входа. Молитву ко причащению при выносе Святых Даров читали вслед за архиепископом Евлогием всей церковью.

Слава Богу, причастился.

Потом молебен с Акафистом. Пошли к мощам. Для нас их открыли. Приложились. Ощущение – отец родной прилёг отдохнуть. И слушает просьбы.

На улице ветер. Опять оторвался от группы. 75 Время есть, сам дойду, без автобуса. Пошагал. Куда ни заверни – ветер. В лицо, в спину. Особенно сильно у моря. Но если удаётся поймать затишное место – сразу тепло и хорошо.

Никто не знал, где отель «Елинос». Это и неудивительно, это не отель, а, в лучшем случае, фабричное общежитие. А говорили: три звёздочки. Да Бог с ними, не в этом дело. Мы у святого Спиридона, остальное неважно. А ему какво бывало.

Наконец, мужчина в годах стал объяснять мне дорогу на всех языках, кроме русского. Я понял, что очень далеко, и понял, что давно иду не к отелю, а от него. Он показал мне на пальцах: пять километров. Направление на солнце. Отличный получился марш-бросок. Заскакивал сходу в магазины и лавочки, чуть не сшибая с ног выскакивающих встречать продавцов. Вскоре заскакивать перестал, так как убедился, что европейские цены сильно обогнали мои карманы, и просто быстро шагал. Купил, правда, за евро булочку, да и ту скормил голубям.

В номере прежняя холодища. Кормить нас никто не собирается. Положенный завтрак мы сами пропустили, гостиничную службу не волну-

ет, что русские до причастия ничего не кушают. Им это нравится, на нас экономя.

В номере прежняя холодильница. Но у Саши кипятильник и кружка. Согрелся кипятком, в котором растворил дольку шоколада.

Читал Благодарственные молитвы.

Какая пропасть между паломниками и туристами! Перед ними все шестерят, а нам сообщают: «У вас же пост», то есть можно нас не кормить.

Но мы счастливы! Мы причастились у святителя Спиридона. И уже много его кожаных сапожков пришло в русские церкви.

Перелёт в Бари с приключениями, то есть с искушениями. Не выпускали. Стали молиться, выпустили. Уже подлетали к Италии, завернули: что-то с документами. Посадили. Отец Александр Шаргунов начал читать Акафист святителю Николаю. Мы дружно присоединились. Очень согласно и духоподъёмно пели. В последнее мгновение бежит служитель, машет листочком – разрешение на взлёт. В самолёте читал Правило ко Причащению. Опаздываем. В Бари сразу бегом на автобус и с молитвой, с полицейской сиреной в храм.

Такая давка, такой напор (Никола Зимний!), что уже не надеялся не только причаститься, но и в храм хотя бы попасть. Два самолёта из Киева, три из Москвы. Стою, молюсь, вспоминаю Великоорецкий Никольский, Никольский же! Крестный ход. Подходят две женщины: «Мужчина, вы не поможете?» Они привезли в Бари большую икону Святителя Николая, епархиальный архиерей благословил освятить её на мощах. Одного мужчину, мы знакомимся, они уже нашли. Я возликовал! Святителю, отче Николае, моли Христа Бога спастися душе моей грешной!

Конечно, с такой драгоценной ношей прошли мы сквозь толпу очень легко. Полиция помогала. Внесли в храм, спустились по ступеням к часовне с мощами. В ней теснота от множества архиереев. И наш митрополит тут. И отец Александр. Смирненно поставили мы икону у стены, перекрестились и попятились. И вдруг меня митрополит остановил и показал место рядом с собой. Слава Тебе, Господи! Ещё и у мощей причастился. Вот как бывает по милости Божией.

## НА СТАРОСТИ ЛЕТ

Писатель, и очень известный, полюбил. Лучше сказать, увлёкся. Но увлёкся крепко. И хотя отлично, при его-то опыте, понимал, что «не стоит она безумной муки», но, но и но...

Приезжал в Москву, жил у нас. Мы всегда были рады ему, но у меня с ним одно не сходилось: я не мог сидеть ночью, слабел, разговор не поддерживал, а он как раз ночью бродил, зато назавтра валялся до полудня.

Сидит, роется в своих сумках, ищет лекарства и громко рассуждает:

– Московские умные шлюхи насилуют знаменитых провинциалов. Готовься писать рассказ о том, как старый, нет, лучше в возрасте, человек выдумывает себе утеху и, конечно, обманывается. Но! – поднимает палец, – отметь то, что любит он сильнее, чем та, что – важная деталь – сама признаётся ему в страстной любви. Он любит сильнее и надёжнее. Думает о ней ежечасно и (!) полагает, что и она так же думает. Серьёзно думает. Это его идеализм. – Шарит и шарит по сумкам. – Рассказ назови «Вечерний разговор о... например, о Скотте Фитцджеральде». Но рассказ о другом. Читатели это любят. Ей надоело уже моё присутствие в мире. Она сейчас, конечно, утешается с другим. А чего я ищу?

– Лекарство ты ищешь.

– Да. Но я его уже нашёл. Я ищу носки.

– Прими лекарство, а то опять потеряешь.

– А носки где?

– Я тебе свои дам. Больше ничего умного не говори, а то я спать хочу.

– А лекарство-то где? Ты же не бросишь человека, не принявшего лекарства? Представляешь, ко мне вернулось состояние, что сидишь где-то в людях, что-то говоришь, а думаешь о ней. Ты ложись, ложись, а я посижу, напишу письмо, пока душа полощется. Пусть она изменяет, я буду любить. Любить и лелеять любовь. Душа потом отблагодарит. Подожди, я же книгу ищу. А, нашёл носки.

Уходит в ванную, стирает носки, поёт:

– Лебединая песня пропе-ета-а, но живёт ещё э-э-хо любви. – Выходит из ванны: – Как? Эхо живёт. А эхо живёт?

– Ну, пока звучит.

– Красивость это или нормально?

– Ну, если живёт, конечно, нормально. Хотя вообще всё это у тебя с ней ненормально.

– Но меня не долюбили! – восклицает он. – Отца не было, мать на работе, девчонок боялся. Одиночество полное! От одиночества стал писателем.

– Так одиночество для писателя это норма. Без него ничего не напишешь. Я ж тоже всё время рвусь в деревню.

– Это поверхностное – бег от семьи в деревню или, там, на дачу. Временное уединение. Нет, когда одиночество глубокое, постоянное, настоящее...

– Значит, ещё лучше напишешь.

– Как ты жесток! Занавес ещё только поднят, а ты уже убиваешь. – Опять начинает что-то перекладывать в сумках. – Пиши: «В семнадцать лет он ещё был хорош, пел песни и разыгрывал из себя знаменитого актёра, похотливого старичка, который любил ничтожных актёрок. Читал искусственным голосом Толстого и Пушкина: “Барышня, платок потеряли!”. “А Катюша всё бежала и бежала...”. Он не знал жизни всех этих мерзавок, которые его обманывали». Хм-хм! Голос прочищаю. «Я всё твержу: я нежно так, я нежно так, тут повтор, нежно та-ак тебя люблю-у». Тут снова надо спеть повтор. Она меня хотела якобы только увидеть. «Ах, вот вы какой, ах, я прочла ваше ожидание любви, я поняла, что это обо мне, и вот я и пришла». О радость, муза в гости! А получилось вот что. Запиши: нельзя быть копией жизни. Литература – это самостоятельная выдуманная жизнь, которая навязывает настоящей жизни правила игры. Деревенской прозе не хватило пары белых усадебных дворянских колонн.

– Да эти дворяне после шестьдесят первого года приходские школы уничтожали, чтоб мужики оставались неграмотными. Земские создавали, а из них священников выгоняли. Дворяне! Паразиты и захребетники! – возмущаюсь я. – Дворянская культура! Да она только для них и есть. Французский учили, чтоб слуги их не понимали. Тургенев крестьянку шестнадцати лет купил и сразу её в наложницы. А перед своей французенкой шестерил. И вообще все западники такие! А читателей им больше досталось. Да плевать! Всё, спать пойду.

– «Судьба решила всё давно за нас», – поёт писатель и комментирует:

– Жуткие слова: «всё решено за нас». Но если судьба – суд Божий, то всё правильно, – и на эту же мелодию (поёт): «Я душу дьяволу готов прода-ать».

– Но это уже совсем ужас, – говорю я. – Это ты не смей: заступник народный готов продать душу дьяволу за что? За лживую бабёнку?

– Вот так и бывает, – говорит он и снова роется в сумках. – Да! Зная, что живём первый и последний раз, что добро было всегда и будет всегда, что зло было, есть, но не будет, попадаем во зло.

Поёт: «Зло появилось точно из-за на-ас. Но в будущем ему не-э жить!»

– И этих бесовок не будет? – спрашиваю я. – Это вряд ли. Будешь чай? Свежий заварю.

Он бросает на пол найденную книгу.

– Зачем я её искал? Спроси, зачем я её искал. А лучше спроси, зачем я её писал? Может, чтобы именно она прочла и нашла меня? Старичок, думал ли я, – он даже руки вздевает, – что может быть такое сильное наваждение тёмной силы? Спать идёшь? А мне мучиться и страдать? Но я счастливый.

– Счастье в чём?

– Счастье в оживлении работы сердца.

– Работы какой? На эту бесовку? То есть именно она оживляет работу твоего сердца? И ведёт к надписи на могильном камне: «Эн-эн погиб не на дуэли, его страдания доели». Объявляю: ухожу спать.

– Какой сон? Тебе счастье выпало – слушать мои откровения. Спать? Продолжу о бабье. У них знания сосредоточены в сумках и сумочках. Поэтому они нуждаются (пауза) в носильщиках.

Сходил в коридор:

– Старый еврей рассказывает внукам о поездке в Москву: «Деточки, я жил у очень богатых людей: у них везде горит свет». «Дедушка, это они освещали тебе дорогу в туалет».

Он садится, немного отпивает из чашки.

– Это ты новый заварил?

– Ты же всё равно спать не будешь.

– Думал сейчас, что Бунин – это уровень Рахманинова. Я записывал его ещё на колёсный магнитофон. И тогда же знал наизусть «Таню», рассказ из «Тёмных аллей». Пересказать?

– Давай. Я подсуфлюрую. А знаешь, что в старости он страшно, как и Толстой, матерился? А не Шмелёва, не Лескова, а их возносили.

– Надо сесть и написать работу «О тех, кто долго был забыт». И откликнется родная душа. «Рояль был весь раскрыт и струны в нём...». Да, осталось верить в рыдающие звуки. Выпью. За Афанасия Афанасьевича. Толстого он переживёт. И за Астафьева надо выпить. Это певец искалеченного народа. Не набрался нежности, жил мстительностью к советской власти. Любить её было не за что, но жить при ней было можно. И надо было жить. Чего не хватало? И мы пожили всё-таки! Я ощущаю себя, будто только заканчиваю пединститут и не знаю, чего меня ждёт.

Опять начинает рыться в сумках:

– Хотел тебе подарить, мне подарили, о зарубежье. Адамович, Иванов, Зайцев, Берберова, Бунин опять же, хоть и матерился. Автор с некоторыми был в переписке, взял их письма, бросил на грядки страниц, пересыпал текстом и всё. Нет, приказчик в начале двадцатого века был выше советского писателя. Цинизм московской критики – это ругань даже не извозчиков, а таксистов. – Подходит к окну: – Запиши: как небесны мысли, когда смотришь на вершины ночных язв.

Я уже тоже напился крепкого чаю и смирился, что ещё придётся долго не спать. Он вещает: – Жизнь надо прожить, чтобы собрать богатую библиотеку.

– И обнаружить, что она не нужна и что её выкинут.

– Даже и с пометками?

– С ними ещё быстрее. Так что не трудись их делать.

Он понурился, тут же поднял голову:

– Русские писатели в шестидесятые написали правительству письмо о гибели русской культуры. И Шолохов подписал. И на письме, – писатель кричит, – была резолюция! «Разъяснить тов. Шолохову, что в СССР опасности для русской культуры нет!»! Понял, да? Эта резолюция обрекала Россию. Вот когда погибла советская власть. Почему было не появиться коротичам, вознесенским, войновичам, евтушенкам, почему было не обвинять Шолохова в плагиате, почему было не раздувать непомерное величие Солженицына, убийственное для литературы? Так-то, милый. Одна и та же операция: вырезать, унижить, оболгать лидеров русского слова, внушить дуракам, что по-прежнему мы сзади мировой культуры. Внушили же! Дни нечистой силы стали праздновать!

– Плюнь, не переживай. Русские не сдаются.

И ещё прошло время. И опять он приехал. Опять сидим. Но стал он какой-то другой:

– У меня будет страшная старость. Въезжая в неё, я всё ещё вписывал кое-что в ловеласовский блокнот, а? Хорошее название? Да? А потом что стало? Помни – нельзя иметь дело с бабами и оставлять об этом письменные следы. Бабы – это твари!

– Ничего себе поворотик. Да ты ж прошлый раз речитативы и арии о ней свершал.

– Тварь! Сняла копии, давала читать, подбросила журналистам. Чтоб развести. Но не будем о ней. – Сидит, молчит. Встряхивается: – Будем о

нас. Мы, наше поколение, вошли в классику как воровы в трамвай, всех обчистили и выдали за своё. Но это было спасительно для классики. Ибо иначе вошла бы в неё шпана и убила бы классику. А мы сохранили. – Берёт со стола кружку, протягивает: – Свежий? Нацеди, любезный.

Подходит к окну. Я напоминаю, что в тот раз по его просьбе записал о возвышенных мыслях при взгляде на вершины ночных язв. Даже небесных.

– Да? Я так сказал? Очень неплохо, очень. Так что и без баб русская литература не пропадёт.

## ПОЧЕРКУШКА

Видно, нечего было делать Толстому – двенадцать раз «Войну и мир» переписал. Нет чтобы Софье Андреевне по хозяйству помочь. Вообще меня умиляют эти разговоры и исследования о «работе над словом». Всегда преподносится, что эти зачёркивания, вписывания, дописывания – основа познания тайны писательства. Глупость всё это. И преувеличивание писателями своей профессии. У «Серапионовых братьев», кажется, было даже такое полумасонское приветствие: «Здравствуй, брат, писать трудно». Это какое-то кокетство. Трудно, так и не пиши. Тракторист трактористу: «Здравствуй, брат, пахать трудно». Землекоп землекопу: «А копать-то, брат, трудно».

Вот он дюжину раз переписал, а несколько сотен ошибок в описание войны вляпал. Ему на них тогда ещё живые ветераны Бородинской битвы указывали. Но что до того графу? Он же творец. «Я так вижу». Да и некогда ему, ему уже «пахать подано».

В доработке есть тот момент, когда она не улучшает, а начинает портить вещь. И то можно, и то нужно сказать, а вещь разбухает. И всё вроде важно.

По объёму охваченных событий «Капитанская дочка» больше, чем «Война и мир», а по тексту меньше раз в десять-пятнадцать. А ведь как можно было расписать детство и отрочество Петруши, Пугачёва в Европе, созревание для падения души Швабрина, вояк Оренбурга, царский двор, детство Маши Мироновой. Уж она-то бы не вляпывалась в лав стори, как Наташа Ростова, а Безухов что под ногами мешается на Бородино?

Великого рецепта жены коменданта Василисы Егоровны нет во всём Толстом. Вот он, этот

рецепт спокойной жизни и совести: «Сидели бы дома да Богу бы молились». Но и её великий пример верности мужу и Отечеству оболгал вскоре Белинский, назвав «глупой бабой».

Всё-таки литература и горделива, и самолюбива, много из себя воображает. Но бывало время, когда она могла и «Богу и людям служить». Даст Бог, ещё послужит.

## САНТОРИНИ

О чёрные пески острова Санторини! Дюпонтный остров, часть утонувшей Атлантиды, вулканического происхождения. Утонул, а однажды поднялся со дна. К нему мы и не причалили даже, встали на рейде. На сушу переехали на «тузике», так называются портовые кораблики для буксировки больших кораблей и перевозки пассажиров.

На Санторини всё крохотно: музейчик, улочки, площадочка в центре, даже торговцы сувенирами и зеленью кажутся маленькими. Заранее нам было объявлено, что после музея повезут на какой-то очень престижный пляж. И заранее я решил, что на пляж не поеду. Не от чего-либо, от того, что сегодня был день моего рождения. Мне очень хотелось быть в этот день одному. Такой случай – Средиземноморье, голубые небеса и догнавшая меня в этот день очень серьёзная дата. Конечно, я никому не сказал о дне рождения. Это ж не день ангела.

Со мною был сын, он отправился со всеми. Я перекрестил его, он меня, автобус уехал. Уехал, а я осознал, что уехала и моя сумка, в которой было всё: документы, деньги, телефон, пакет с едой, выданный на теплоходе. То есть я стоял на площади, как одинокий русский человек без места жительства и без средств к существованию. Не завтракавший (торопился на берег) и не имеющий надежды на обед, а ужин (тоже объявили) заказан на семь вечера в ресторане Санторини. А было ещё утро.

Но была радость от того, что я сейчас один-одинёшенек, а вокруг такая красота, такие светло-серые в пятнах зелени горы, такое цветенье деревьев и кустарников и – особенно – такое море! Как описать? Залив изумрудного цвета, гладкий как стекло, в который была вляпана красавица «Мария Ермолова» – наш теплоход.

Вино санторинское поставляли ко дворам императорских и королевских величеств многих европейских стран. Оно и в литературу вошло. Зачем я, со своими нищими карманами, санто-

ринское вспомнил, когда на газировку нет? Хотя... я на всякий случай прошарил карманы. Ангел-хранитель со мной! Набралось на бутылочку воды. И вот она в руках, и вот я иду всё вниз и вниз.

Море казалось недалеко. Быстро кончилась улица, выведшая к садам и огородам. Пошёл на прямую. Изгородей меж участками не было, хотя видно было, что тут владения разных хозяев. Где-то посадки были ровными, чистыми, где-то заросшими. Фруктов и овощей было полным-полно, осень же. А если чем-то попользуюсь? Не убудет же у хозяев. Но виноград рвать боялся, конечно, обработан химикатами. Да и другое тоже как будешь есть, надо же вымыть. И не хотел ничего брать. Но потом, честно признаюсь, кое-чего сорвал, положил в пакет.

Море казалось совсем рядом. А подошёл к обрыву – Боже мой, ещё надо целую долину пройти. А по ней асфальтовая дорога. Пошагал по ней. Долго шагал. Думал: «Ведь это же надо ещё и обратно идти. Да и в гору».

Увидел издали белый глинобитный домик. Для сторожей? Оказалось, что это крохотная церковь. Так трогательно стояла среди цветов, арбузов, дынь, винограда. На дверях – маленький, будто игрушечный, замочек. Заглянул в окошечко. Ясно, что в ней молились. Чистенько всё, иконостасик. Горит перед ним лампадочка.

Наконец, берег. Чёрный берег. Чёрный крупный песок. Кругом настолько ни души, что кажется странным. Почему? Такой пляж: вода чистая, видны песчинки, рыбки шевелятся, водоросли качают длинными косами.

Разделся и осторожно пошёл в воду. Всегда в незнакомом месте опасения, боязнь колючек, морских ежей. Тем более тут, когда непонятна была глубина под ногами – чернота и на отмели, и подальше. Потихоньку шагал, поплескал на лицо и грудь, и так стало хорошо! Как тут всё аккуратненько: крупный, податливый песок под подошвами, мягкая вода, не тёплая, но и не совсем прохладная. Отлично! Я заплыл. Из воды оглянулся. Да, вот запомнить – белый город над синей водой под голубыми небесами. И чёрная черта, отделяющая море от суши.

Повернулся взглянуть на море. Показалось, что в нём что-то шевельнулось. Вдруг совершенно неосознанный страх охватил меня. Боже мой, как же я забыл: это же известнейшая история о Санторини, как на нём враги Православия, франки, в годовщину памяти святителя

Григория Паламы праздновали, по их мнению, победу над учением святителя. Набрали в лодки всякой еды, питья, насажали мальчиков для разврата и кричали: «Анафема Паламе, анафема!». Море было совершенно спокойным, но они сами вызвали на себя Божий гнев. А именно – кричали: «Если можешь, потопи нас!» И, читаем дальше: «Морская пучина зевнула и потопила лодки».

Вроде меня топить было не за что: святителя я очень уважал, изумляясь тому количеству его противостояний разным ересям, но было всё ж таки немножко не по себе. «Вера у тебя слаба», – сердито говорил я себе.

Вымыл фрукты в морской воде, устроил себе завтрак, соединивши его с обедом. Далее был обратный путь. Он был в гору. Но я никуда не торопился. Никуда! Не торопился! Вот в этом счастье жизни. Остановливался, смотрел на синюю слюду залива, на выступающие из воды острова, на наш теплоход. Легко угадал иллюминатор своей каюты.

Было не жарко, а как-то тепло и спокойно. Редчайшее состояние для радости измученного организма. Мог и посидеть, и постоять. Никакие системы электронной слежки не могли знать, где я. Свободен и одинок под средиземноморским небом.

Махоньякая церковь была открыта будто специально для меня. То есть, пока я был у моря, кто-то приходил к ней и открыл. А у меня даже и никакой денежки не было положить к алтарю. Долил в лампадочку масла из бутылочки, стоящей на подоконнике. Помолился за всех, кого вспомнил, за Россию особенно.

Вдруг осознал – времени-то уже далеко за полдень. День пролетел. И как оно вдруг так пронеслось?

Пошёл к месту встречи. Дождался своих спутников. Потом был ужин в ресторане над живописным склоном. А на нём сын подарил мне серебряное пасхальное яйцо. Не забыл о моём дне рождения.

Встречать бы дни рождения на островах Средиземноморья! О, если б на любимом Патмосе!

Уже я старик, а как мечтал пожить хоть немножко зимой или осенью на Патмосе, сидеть в кафе у моря, что-то записывать, что-то зачёркивать, вечером глядеть в сторону милого севера, подниматься с утра к пещере Апокалипсиса и быть в ней. Когда не сезон, в ней почти никого. Прикладываешь ухо к тому месту, откуда исходили Божественные глаголы, и кажется даже, что что-то слышишь. Что? Всё же сказано до нас и за нас, что тебе ещё?

